
Дмитрий Шляпентох
США

«КРАСНОЕ КОЛЕСО» СОЛЖЕНИЦЫНА: МЕЖДУ ЭМОЦИЯМИ И РЕАЛЬНОСТЬЮ¹

Известно, что и писатель, и специалист по общественным наукам в теоретических обоснованиях и повествовательной структуре своего труда отталкиваются во многом от собственных убеждений. По всеобщему мнению, в построении теоретической концепции, которая предшествует накоплению материала, автор, при всей кажущейся жёсткости её логической схемы, исходит в первую очередь из своих эмоциональных предпочтений. Набор этих чувственных постулатов задаёт логику идейных конструкций. В процессе их выстраивания иллюзия «объективности» рассказываемого, ощущение, что повествование зиждется на объективных и говорящих сами за себя фактах, возникает зачастую не только в сознании автора, уверенного в самоочевидности и истинности им изложенного, но и в умах читателей. Последние оказываются не в силах уловить исходную предопределённость представленной им картины, её эмоциональную заданность.

Конечно, последовательная разработка сюжета и накопление всё большей и большей массы материала могут увести автора в направлении, прямо противоположном тому, что было замыслено изначально, оторваться от исходно заданной схемы. В этом случае писатель или учёный либо создаёт совершенно новую историю, либо заходит в тупик, оказываясь неспособным прийти на основании собранного им материала к единому, логически обоснованному выводу. В таком случае поборники позитивистского подхода стали бы утверждать, что факты не дают оснований для такого вывода, но дело скорее в том, что он не вытекает из эмоционального развития повествования. Именно этот, чувственный аспект художественного творчества отчётливо прослеживается в «Красном Колесе», масштабном труде о русской революции, над которым Александр Солженицын, нобелевский лауреат и один из виднейших русских писателей, неустанно работал до последних лет жизни.

В юности отношение Солженицына к коммунизму не было однозначным, но, пройдя войну и сталинские лагеря, писатель стал заклятым врагом этого режима. Разумеется, он отнюдь не единственный, кто придерживался подобных взглядов: в американских архивах хранится множество документов, свидетельствующих о настроениях русских людей, испытавших на себе всю жестокость

власти и готовых приветствовать даже ядерную войну, лишь бы она покончила с этим режимом. Глубокая пропасть, пролежавшая между простыми гражданами и властью, объяснялась политикой коммунистического правительства, беспрестанно подавлявшего национальные чувства как русских, так и других народов, входивших в состав СССР. В начале своего творчества Солженицын видел причину неуклонно нараставшего угнетения народа со стороны власти также в «ложной» идеологии. Основателей государства вдохновляли мечты об обществе всеобщей гармонии. Утопические грёзы не имели ничего общего с жизнью подавляющего большинства населения. И поскольку это большинство упорно сопротивлялось абстрактным идеям своих правителей, те обратились к чудовищным насильственным методам, создав в итоге тоталитарный режим, чуждый и русскому народу, и его истории. Такая трактовка возникновения советского режима явно прослеживается в «Архипелаге ГУЛАГ», и подобная схема напоминает некоторые идеологические построения, популярные и на Западе в 60–70-х годах прошлого века. Об этом стоит поговорить подробнее, дабы осознать теоретические истоки солженицынского повествования.

Работая над «Архипелагом», Солженицын знакомился с содержанием научных и политических дискуссий, посвящённых данному предмету, на Западе. Сама же публикация этой книги и её перевод на европейские языки стали столь значительным событием, что основные идеи произведения немедленно были включены в политическую повестку дня западной научной мысли — главным образом в силу горячего интереса ко всему, что имело отношение к Советской России. Когда в разгар «холодной войны» Солженицын оказался на Западе, история России — революция и становление Советского Союза — вызвала огромный интерес западного учёного сообщества, особенно в США. При этом на первых ролях были учёные, которые рассматривали большевистский переворот, возникший в результате него режим и вообще социализм скорее с симпатией, хотя и существовал большой разброс мнений по части общей оценки революционного опыта России и Советского Союза.

Кому-то положительная сторона социалистической идеи виделась в меньшевизме. Большевики несли в себе образ «социализма с человеческим лицом». Для представителей этой точки зрения большевики просто узурпировали власть, а их идеология и особенно её воплощение в жизнь не имели ничего общего с подлинным социализмом². Одни учёные приводили в качестве дополнительной причины, подтолкнувшей к такому повороту в сторону насилия, то обстоятельство, что революция изначально произошла в отсталой, полуазиатской стране. Другие признавали большевистскую революцию закономерной и оправданной, а новую экономическую политику считали чуть ли не воплощением всё того же «социализма с человеческим лицом». В такой ситуации альтернативой сталинскому тоталитаризму, «извратившему подлинный дух» социалистической революции, представляла фигура Николая Бухарина³.

Наконец, в 60-е годы, когда на Западе, и прежде всего в Америке, в политике и науке бал стали править левые интеллектуалы, возникла тенденция к полному пересмотру традиционных взглядов. Расцвет подобного «ревизионизма» совпал с беспрецедентным расширением американской системы высшего образования, в результате чего более консервативно настроенные «рыцари» «холодной войны» были оттеснены на периферию научного сообщества. «Ревизионисты» целиком оправдывали советскую власть на всех этапах её существования, включая и эпоху сталинизма. Для таких представителей этого направления, как Шейла Фитцпатрик или Джон Арчибальд Гетти, Сталин вовсе не являлся тоталитарным диктатором, а лишь исполнял волю большинства. Репрессии, которые в их изображении предстают не такими масштабными, стали ответом на устремления широких народных масс. В то же время всячески подчёркивались успехи, которых властям удалось добиться в области просвещения и создания социальных лифтов, промышленном росте и в других сферах жизни⁴. Ну и, разумеется, утверждалось, что большинство жертв сталинского террора составляли продажные чиновники, вполне заслужившие такой конец⁵. «Ревизионисты» считали Солженицына чрезвычайно предвзятым автором и полагали, что на его свидетельства основываться попросту невозможно; нередко не менее скептически они были настроены и по отношению к русским эмигрантам (по большей части евреям), которые, по их мнению, либо оказались неспособными понять свою собственную страну, либо так и не смогли овладеть подлинно научными методами западной социологии.

Солженицын напрочь отменяет все доводы «ревизионистов». Куда сложнее его взаимоотношения с консервативно настроенными советологами, чьё мировоззрение складывалось на протяжении 40–50-х годов прошлого века. Они хорошо знали и ценили Солженицына, а он, в свою очередь, читал их труды. Одним из наиболее значимых представителей этого круга был Ричард Пайпс, который не отрицал того факта, что коммунистическая идеология и партия большевиков сыграли существенную роль в становлении советского режима. Однако при этом он подчёркивал, что эта государственная система не являлась принципиально чужеродной по отношению к прежней России, с её монархией, созданной по восточному образцу, и традициями крепостного права⁶. Эти исконные составляющие русской политической культуры большевики ещё более усилили⁷. Некоторые исследователи вообще напрямую связывали укрепление советской власти с предшествующими традициями русской культуры. Многие эмигранты из СССР, покинувшие страну в годы застоя и перестройки (по преимуществу евреи), ощущали свою глубокую чужеродность не только по отношению к режиму, но и к стране как таковой и её народу. Для них Россия на протяжении всей своей истории оставалась неизменной: неисполненной жестокости и деспотизма страной, где националистические идеи, антисемитизм и ненависть ко всякого рода меньшинствам

были любимой забавой в равной мере и для высших слоёв общества, и для широких народных масс. Для большинства подобным образом настроенных людей рисуемая Солженицыным картина, в которой советский режим представлял искусственно навязанным русскому народу, казалась абсолютно неверной. Подобные взгляды писателю были знакомы, но разделить их он никак не мог. Куда ближе ему были те, кого можно было бы назвать «консервативными постмодернистами». Влияние Солженицына на них было довольно сильным, и, в свою очередь, он также находился в курсе их идей, которые в принципе были ему созвучны.

Постмодернизм, расцветший в основном во Франции, исходно был интеллектуальным течением левого толка. По мнению его адептов, образцы подлинно тоталитарного общества являл как раз Запад. Здесь социальная жизнь определяется тем, что постмодернисты (в данном отношении наиболее показательным примером могут считаться идеи Мишеля Фуко) именовали «эпистемой». Этот феномен представлял собой не столько набор взаимосвязанных постулатов, сколько структурную взаимосвязь наиболее значимых составляющих культуры. Подобная система поведенческих или культурных парадигм достаточно трудноуловима и неочевидна, но она глубоко внедрена в сознание большинства и формирует основные механизмы социальных взаимодействий, управляющих ходом общественного развития. Из-за этой капиталистической «эпистемы» западные люди и утрачивают свободу, сами того не сознавая. Она обрекает их на «великое заточение» в пределах рабочих цехов, фабрик, бюрократических институтов, школ, регламентирует все стороны их жизни и превращает в послушных зомби, которыми так легко манипулировать. (Многое из написанного Фуко обрело большую популярность; но всё же воздействие некоторых его сочинений оказалось особенно мощным — из значительных трудов на ум приходит, например, «Надзирать и наказывать»⁸.)

К 1970-м годам это левацкое течение в постмодернизме приобрело более консервативную окраску. Во Франции подобные взгляды распространились и в среде так называемых «новых философов», для которых «Архипелаг ГУЛАГ» стал поистине откровением⁹. Для них воплощением деспотизма стал уже не современный западный капитализм, а, напротив, социалистические государства. При этом социализм, по их мнению, таил в себе величайшую опасность, поскольку привлекал умы множества людей обещанием рая на земле, социальной гармонии, когда все частные интересы меркнут перед идеей общего блага. Заворожённые этой мечтой, массы устремлялись вслед за социалистическими вождями (которые зачастую сами так же заблуждались) и в итоге попадали в адскую ловушку тоталитаризма. С точки зрения таких постмодернистских неоконсерваторов, причины возникновения революционного террора и диктатуры таились в самой идеологии. На этой основе в той же Франции возникло течение «ревизионистов» вроде Франсуа Фюре¹⁰, полностью пересмотревших историю Французской революции.

Фюре — по всей видимости, под влиянием Солженицына — придерживается весьма негативного взгляда на Французскую революцию. Правда, он не разделяет мнения Ипполита Тэна¹¹, который полагал, что революционная буря обрушилась на страну из-за гнилого либерализма представителей «старого порядка», оказавшихся неспособными обуздать губительные порывы черни. Фюре считает, что деятели Французской революции были движимы идеями Жана Жака Руссо и других подобных ему мыслителей эпохи Просвещения. Они рисовали картину гармоничного общества, в котором частные интересы совпадут с общественными. Но эта мечта просто не могла быть реализована, и попытка её воплощения на деле обернулась якобинским террором. Утопические грёзы тесно сплелись с революционными традициями, и вместе они стали причиной нескольких восстаний во Франции XIX века, с помощью которых приверженцы радикальных идей пытались построить общество всеобщего благоденствия¹². От французов эту опаснейшую иллюзию унаследовали и русские экстремисты.

Убеждённость в том, что причиной переворотов, насилия и в конечном счёте ужасов тоталитарной диктатуры стала утопическая мечта о земном рае, была весьма распространена в советских диссидентских и полудиссидентских кругах, а также среди русских эмигрантов на Западе¹³. Здесь показательным примером является, скажем, книга Михаила Геллера и Александра Некрича «Утопия у власти»¹⁴. Это представление легло в основу идеологического подхода, который исповедовала рейгановская администрация, а также различные консервативные исследовательские центры, вроде Гуверского института¹⁵. При таком подходе противостояние с Советским Союзом воспринималось не просто как деидеологизированное геополитическое соперничество двух сверхдержав, стремящихся к мировому господству, но как борьба двух «эпистем». С одной стороны — утопическая иллюзия, которая именно в силу своей нереализуемости становится истоком возникновения жесточайших тоталитарных режимов. С другой — западная система капиталистической демократии, которая при всём своём несовершенстве куда доброкачественнее по сравнению с вводящими в искушение и губительными догмами социализма.

Похоже, что в процессе создания «Архипелага ГУЛАГ» Солженицын исходил именно из подобных постмодернистских интерпретаций революции и возникшего в результате неё государства¹⁶. При подобной трактовке жестокосердные мечтатели поработают всё общество, дабы силой преобразить его в соответствии с изначально заданными принципами. Их одержимость и становится причиной жуткого размаха, который приобретает революционный террор. Следы именно такого подхода проступают и в других сочинениях Солженицына, например в «Ленине в Цюрихе». Ленин предстаёт там хитрым умным политиком вроде Макиавелли, но он стремится к власти не ради её самой. Он свято верует в свою идею, и власть ему нужна для того, чтобы получить возможность выстроить новое общество по заранее заданным лекалам.

Ленин был убеждён в том, что знает нужды русского народа и всего человечества лучше, чем сами эти люди, и желал твёрдой рукой привести их в светлое будущее, пусть и вопреки их собственной воле.

Таким образом, в своих книгах, предшествовавших «Красному Колесу», Солженицын — возможно, сам до конца не отдавая себе в этом отчёт — подходил к русской/советской истории с позиций консервативного постмодернизма. Потому можно с относительной уверенностью предполагать, что и в начале работы над «Красным Колесом» это произведение замышлялось как ещё более масштабное развёртывание той картины, которая уже была намечена в прежних сочинениях. Описание самого возникновения советской власти было призвано показать всю её чуждость русскому обществу и историческим традициям русской культуры. Солженицын с головой ушёл в тщательные изыскания. На самом деле исторический материал, относящийся к русским революциям, он начал собирать ещё задолго до создания им «Архипелага ГУЛАГ» — похоже, всё его интеллектуальное становление неразрывно связано с этими поисками. Однако отъезд на Запад открыл для писателя возможность познакомиться с богатейшими архивными и библиотечными собраниями Америки (прежде всего в Гуверовском институте), в которых он обнаружил множество новых свидетельств. В итоге Солженицын накопил поистине бездну материала, нередко уникального. И вот все эти данные оказалось весьма трудно вмести́ть в рамки постмодернистских построений, прослеживаемых в «Архипелаге» и «Ленине в Цюрихе».

В «Архипелаге» перед нами предстаёт послушный, в основе своей честный и работающий православный народ, который внезапно оказался в руках у безжалостных мечтателей, соблаздивших простой люд обещанием коммунистического рая на земле. Большинство этих фантазёров свято верили в свои идеи — тем легче было им увлечь за собой широкие массы населения, дабы начать преобразования общества по изобретённым ими моделям. Царское правительство осознавало опасность, исходившую от радикальных фанатиков, — вот почему, например, Пётр Столыпин, один из наиболее мудрых людей во власти, старался вести себя с ними как можно жёстче, дабы уберечь Россию от надвигающейся катастрофы. Однако множество собранных Солженицыным фактов не очень укладывалось в эту стройную теорию.

В период с 1914 по 1917 год в России неуклонно нарастал процесс социального распада, и Солженицын скрупулёзно, буквально день за днём описывает нам этот путь в пропасть. Рабочие не желали трудиться, солдаты — воевать. На фронте — массовое дезертирство. Разрушение системы власти, ощущение, что полученные политические свободы — своего рода индульгенция — привели к бурному росту преступности. Вообще, чистая уголовщина стала едва ли не главной приметой революционного времени. В «Красном Колесе» Ленин предстаёт уже не эдаким возвысившимся над толпой идейным фанатиком, а куда больше смахивает на простого бандита. Он плоть от плоти русской чер-

ни, звериной, преступной толпы, которую революция привлекает не обещанием земного рая и социальной гармонии, а расцветом анархии. В противовес Ленину автор «Колеса» выдвигает фигуры Корнилова и Колчака, которые, как он полагает, могли бы, одержав победу, спасти Россию, создав новую систему власти.

Впрочем, здесь возникает проблема, на которую Солженицыну стоило бы обратить внимание, в особенности учитывая его страсть к скрупулёзным историческим разысканиям. Она кроется в основных положениях политической программы Корнилова, о чём следует сказать более подробно. Генерал ратовал за широкое применение смертной казни для поддержания боевого духа войск и предотвращения распада общества и государства¹⁷. Он готов был в случае надобности обеспечивать продовольственное снабжение армии и городов с помощью силовых мер. Для прекращения бесконечных забастовок и бесперебойных поставок оружия на фронт Корнилов также предлагал перевести промышленность на военное положение. Иными словами, ключевым орудием его политики тоже стало бы принуждение.

Не требуется совсем уж детального анализа, чтобы убедиться в том, что программы многих оппонентов большевиков не так уж сильно отличались от их собственных методов. Сами тогдашние обстоятельства заставляли всех в обращении с массами тяготеть к тому, что Фуко назвал бы «надзором и наказанием». Так что враги большевиков вполне могли — разумеется, если бы им удалось одержать победу — также превратиться в жестоких тиранов и, несмотря на всю ненависть к коммунистам, взять на вооружение кое-какие большевистские методы. В свою очередь, большевики тоже смогли нечто перенять у своих противников, и в своих действиях они могли руководствоваться мотивами, достаточно схожими с устремлениями Столыпина, Корнилова или Колчака. Конечно, красный террор отличался куда более жестоким произволом по сравнению с пресловутыми «столыпинскими галстуками» или даже белым террором, хотя отдельные исследователи усматривают в этих явлениях немало системных параллелей¹⁸, а некоторые даже изображали активных деятелей красного террора гуманистами, пытавшимися его предотвратить¹⁹.

Такой подход представляется весьма спорным, и вряд ли следует сомневаться в ужасах красного террора, даже если изначальные намерения советских вождей и были вполне человеческими²⁰. Людей убивали из-за «неправильного» социального происхождения, за связь с партиями, оппозиционными большевикам, а порой и просто так, дабы устрасить население. Большевики жестоко обходились не только с реальными и потенциальными врагами, а вообще со всеми, кто позволял себе ту или иную антиобщественную активность, столь ярко изображённую в «Красном Колесе». На самом деле впервые большевики по-настоящему употребили силу, когда Петроград вскоре после их победы захлестнула волна пьяных погромов. Тех, кого они считали своими политическими противниками, ждала смерть, но она же грозила и обычным

преступникам и бандитам; новая власть не проводила особой грани между вульгарной преступностью и политическим сопротивлением.

В строительстве Красной Армии, быстро ставшей могучей силой, большевики тоже следовали заветам Столыпина, Корнилова и Колчака, сплачивая её не только идеей, но и террором. Вот почему они оказались способными не только нанести поражение белогвардейцам, но и воплотить самую заветную мечту последних, зачастую считавших себя продолжателями дела Столыпина, и возродить под личиной СССР единую Российскую империю. А ведь множество деятелей Белого движения были вдохновлены именно стремлением воссоздать «единую и неделимую» Россию.

«Красное Колесо» не охватывает всю эпоху революции и Гражданской войны. О причинах этого можно только гадать. В частности, можно предположить, что у Солженицына просто не хватило времени, чтобы довести до конца свой монументальный замысел. Но может иметь место и другое объяснение. Сама логика исторического повествования повела автора в направлении, прямо противоположном изначальной идеологической задаче. В его труде большевики вообще и в особенности Ленин предстали не как порождение анархического охлоса, а как организованная сила, в какой-то мере действующая ради оздоровления общества. Тем самым власть большевиков начинает восприниматься как явление естественное, а не как воплощение искусственной идеологической «эпистемы», каковым она представляла в консервативно-постмодернистской картине, нарисованной в «Архипелаге ГУЛАГ». Это заставляет под новым углом зрения взглянуть и на становление сталинского режима. При таком понимании он перестаёт казаться неким искусственным идеологическим конструктом, в основе которого лежат мечты о мировой революции и утопическое стремление построить в Советской России идеальное общество, и оказывается пусть специфической и жестокой, но в достаточно степени естественной формой власти, пытающейся решить задачи, реально стоящие перед страной: достижение социальной стабильности, ускорение экономического развития, обеспечение безопасности от внешних угроз, одновременно предполагающее и реализацию вечной тяги к мировому господству.

Подобная эволюция отнюдь не уникальна для России и характерна для многих революционных режимов современности. Схожим образом коммунистические правители Китая — прежде всего те, кто пришёл на смену Мао, — отбросили утопические эксперименты ради экономического прогресса и укрепления военной мощи своей страны. На знамёнах этого режима теперь начертана стабильность, а не «огонь по штабам», как во времена «культурной революции». Его идеологи всячески подчёркивают, что для Китая на протяжении всей его истории была важна стабильность, превознося всех тех, кто выступал её гарантом, — от основателя династии Цин²¹ до умиротворителей Тайпинского восстания²². Причём защитниками национальных интересов пекинские власти рисует не только официальная пропаганда — таковыми их

считает значительная часть населения, и потому данному режиму никак нельзя отказать в легитимности.

Такое же отношение к коммунистической власти бытовало среди многих советских интеллектуалов, которые при этом вовсе не были этой властью прикормлены. Ощущение законности советской власти с течением времени всё более и более возрастало в эмигрантских кругах, и о подобных взглядах, бесспорно, знал Солженицын, который, как уже говорилось, работал в архивах Гуверовского института и в библиотеках, где мог познакомиться со множеством соответствующих публикаций. Некоторые противники большевистского режима начали задумываться о возможности его оправдания ещё во время Гражданской войны; а стоило Советской России вступить в войну с только что обретшей независимость Польшей, и подобные настроения расцвели пышным цветом. Именно в этот момент прославленный русский генерал Алексей Брусилов призвал своих соратников-офицеров сражаться на стороне Советов, ныне взявших на себя роль защитников русской национальной идеи.

Теория, согласно которой советская власть, включая сталинский режим, стояла на страже национальных интересов России, была чрезвычайно популярной среди русских эмигрантов, называемых национал-большевиками, от последователей Николая Устрялова²³ до евразийцев²⁴. Её влияние возросло, а число адептов, возможно, пополнилось после вторжения в СССР Германии и победы Советской России во Второй мировой войне. В это время поддержку Кремлю выражали даже некоторые самые заклятые враги Советов. Так, непримиримый противник режима Павел Милюков, министр иностранных дел Временного правительства, признавал решающую роль Красной Армии, выступившей как подлинно народная сила, в разгроме Германии. На смертном одре он написал открытое письмо, в котором называл себя убеждённым врагом советской власти, хорошо представляющим себе весь масштаб её злодеяний. Но, если это было необходимо для победы Красной Армии, свидетелем которой он стал, что ж, он готов предать прошлое забвению. Иван Бунин, лауреат Нобелевской премии (этой же награды позже будет удостоен и Солженицын), разделял эти взгляды.

Немало уехавших из России продолжали считать советскую власть воплощением зла. Но в целом распространение и влияние идей национал-большевизма в эмигрантской среде были весьма значительны. Зарубежная русская пресса изобиловала подобными публикациями, и Солженицын в ходе своих исторических разысканий, несомненно, с ними сталкивался, однако полностью их игнорировал. Ни в одном из его сочинений, включая «Архипелаг ГУЛАГ», нет и тени намёка на подобную трактовку. Причина вполне очевидна. «Корниловизация» коммунистического режима, укоренение его в русской истории в духе национал-большевизма придавали советской власти относительную легитимность, а душой Солженицын никак не мог этого принять. Такое чисто эмоциональное нежелание хоть в какой-то мере оправдать нена-

вистную власть не только препятствовало осознанию некоторых глубинных основ революции, но и помешало писателю постичь внутреннюю логику другой, новой русской революции, разрушившей здание советской власти. Эта логика по сути своей была близка к той, что привела к краху монархии.

Параллели между царским и советским режимами накануне их падения прежде всего (ну или хотя бы в какой-то мере) определяются особенностями проведения ими репрессивной политики. В последнее десятилетие своего существования советская система стала куда более «вегетарианской». Смертная казнь существовала, но применялась исключительно к обычным преступникам, а степень подавления оппозиции была куда меньшей, чем в царской России в период революции 1905–1907 годов. Яркий тому пример — высылка из страны (как произошло и с Солженицыным) политических противников (или тех, кто считался таковыми) или принуждение их к самостоятельному отъезду. Разумеется, можно привести множество других отличий, и немало диссидентов видели в Советском Союзе куда больше общего с Римской империей эпохи её заката, чем с царской Россией. По меньшей мере, некоторые из них, вроде Иосифа Бродского²⁵, тешили себя этой иллюзией. Однако начавшаяся перестройка сделала сходство между Советским Союзом и Россией февраля–марта 1917 года более чем очевидным. Всё больше граждан начинали видеть в Горбачёве второго Керенского: оба представляли болтунами, не способными осознать последствия собственных действий и прежде всего того обстоятельства, что ослабление государственного контроля над обществом ведёт страну к катастрофе. Происшедшие вследствие их политики социально-экономические перемены также так и напрашивались на исторические параллели. Как и в 1917 году, экономика резко пошла вниз, зато расцвела преступность²⁶ и произошло снижение нравственных ценностей, причём упадок морали зачастую чуть ли не героизировался средствами массовой информации. Страна начала распадаться, повсеместно вспыхивали этнические конфликты. Наконец, весьма схожим было и отношение к ситуации в России со стороны Запада. В обоих случаях западные правительства, политики и интеллектуалы приветствовали перемены и объясняли происходящее в духе «постмодернизма». Тамошние умники (по крайней мере, в большинстве своём) провозгласили гибнущие режимы неестественно архаичными и заслуживающими тотальной переделки на манер западных демократий, которые и в 1917 году, и в конце 1980-х виделись им знаком «конца истории»²⁷.

В действительности же, как наглядно показал Солженицын, Запад и в начале, и в конце прошлого века руководствовался куда более прагматическими соображениями — их-то писатель и вскрывает в «Красном Колесе». Описывая события 1917 года, он разбирает политику западных государств, которые приворялись союзниками России.

На самом же деле их намерения вряд ли можно назвать дружественными: русские солдаты для них были всего лишь пушечным мясом, а слабость

России они стремились всячески использовать в своих интересах. Союзники вроде Франции пытались заключить с её врагами сепаратный договор, дабы лишить Россию всех выгод, которые должна была ей принести победа Антанты. Отношение Запада к советскому режиму было по сути точно таким же. Всякий внимательно наблюдавший за взаимодействием Запада и Москвы приходил к заключению, что «свободный мир» хотел не просто свалить коммунистов, но и извлечь для себя максимум выгоды из нового геополитического расклада.

Россия вполне могла разделить судьбу Оттоманской империи. Крах султаната привёл не столько к освобождению многочисленных народов, населявших его империю, сколько к их колонизации Западом. Схожие тенденции наметились и в эпоху Горбачёва и в последовавшие за ней годы. Некоторые представители западных властных кругов были обеспокоены перспективой анархии в стране, располагавшей ядерным оружием и множеством объектов атомной и химической промышленности. Однако по мере того, как они наблюдали за происходящим, они постепенно приходили к выводу, что процесс дезинтеграции поддаётся контролю и вовсе не обязательно приведёт к катастрофе. И с этого момента Запад на самом деле стал просто получать удовольствие, созерцая гибель своего величайшего геополитического противника, для чего и войны-то не потребовалось. Для Запада это не было концом некой политической или социально-экономической системы; просто исчезла вражеская или соперничающая сила, противостоявшая ему на геополитическом пространстве Евразии. Действия Запада диктовались конкретными геополитическими нуждами, а не идеологией — тем же руководствовались прежде и власти Советского Союза. Солженицын с его острым историческим чутьём, Солженицын, чьё зрение не было, пожалуй, ограничено идеологическим шорами, привычными для западных аналитиков, должен был бы различить подлинное содержание взаимоотношений России и Запада в период распада СССР. Выявить их подлинную суть и сопоставить её с происходившим в 1917 году смогли многие в России. Но не он: писатель не предвидел катастрофы и приветствовал падение ненавистного режима. Причиной тому, безусловно, стало его эмоциональное восприятие и прошлого, и настоящего. Солженицын не мог допустить никакого легитимного оправдания этой власти. Вот почему он так и не уловил напрашивающихся параллелей между отчаянным порывом Корнилова спасти страну от гибели в 1917 году, с одной стороны, и в той же степени изначально обречённой на провал попыткой «банды восьмерых», назвавшей себя ГКЧП, совершить нечто подобное в августе 1991-го, — с другой.

В таком представлении о действительности Солженицын был вовсе не одинок. По тем же причинам точно так же поступали многие диссиденты. Солженицына роднило с ними и ещё одно обстоятельство. Он, как и прочие критики режима, от философа и математика Александра Зиновьева до писа-

теля Владимира Максимова, пришёл в ужас от последствий трансформации Советского государства. Некоторые, подобно Зиновьеву, в итоге полностью пересмотрели свои взгляды. На Западе имя Зиновьева ассоциируется прежде всего, конечно, с автором «Зияющих высот»²⁸, книги, в которой он сумел продемонстрировать полную абсурдность советской системы. Однако вскоре после распада СССР Зиновьев, напротив, провозгласил Запад средоточием зла и абсурда, а советскую власть признал наилучшим выходом и для России, и для всего мира. Не таков был Солженицын: до конца жизни он неколебимо придерживался антисоветских взглядов и отвергал самую мысль о том, что множество фактов, связанных с русской революцией февраля–марта 1917 года, свидетельствуют об оправданности перехода от анархии, развязанной Февралём, к большевистской власти с её особой манерой «надзирать и наказывать». Он отказывался признавать то, что советский режим обладал хоть какой-то легитимностью и привёл хоть к сколько-нибудь позитивным результатам. В равной мере писатель отрицал и тот факт, что внезапное его разрушение обернулось катастрофой. Остается только гадать, сумет ли Путин или его преемник удержать страну от окончательного и на сей раз необратимого распада и исчезновения с карты Евразии — по крайней мере, в том виде, в котором она существовала на ней в течение тысячелетий.

Даже специалисты по общественным наукам исходят в своих исследованиях из набора чисто эмоциональных постулатов. Ход их разысканий в конце концов определяют именно эти изначально заданные аксиомы, а не накопленные факты. Труды Солженицына являют нам именно такой пример. Из-за собственных лишений и страданий множества людей, встретившихся на его жизненном пути, писатель возненавидел советскую власть всем своим существом. Его изыскания подтвердили, что этот режим виновен в смерти и бедствиях многих миллионов людей. Соответственно, ему эта власть представляется абсолютно чуждой и России, и её традициям. Подобный подход вызвал критику со стороны некоторых западных интеллектуалов, однако были и такие, кто с готовностью согласился с этим выводом и для кого «Архипелаг ГУЛАГ», книга, в которой Солженицын наиболее полно описал всю бесчеловечность режима, стал поистине духовным откровением. Они признали, что все чудовищные преступления коммунистов были порождены ложным, абстрактным идеологическим «дискурсом», призывавшим к построению рая на земле. В реальности рай обернулся адом.

Приступая к «Красному Колесу», Солженицын исходил из тех же эмоциональных установок. Это произведение должно было показать, как искусственные идеологические конструкторы помогли овладеть беспомощным обществом. Но собранные писателем факты выстраиваются в совершенно противоположную картину. В период с 1914 по 1917 год российское общество вступило в полосу последовательного распада, и власть большевиков, наряду с другими

нереализованными возможностями, была одним из путей преодоления социальной анархии. Однако такое понимание происходившего предполагало бы частичное оправдание Советской власти как феномена, в какой-то мере предопределённого самим естественным ходом истории. Для Солженицына это было эмоционально неприемлемо. Возможно, именно здесь кроется причина того, что писатель так и не отважился в «Красном Колесе» перейти к описанию большевистского переворота и красного террора. Такое душевное неприятие режима также помешало ему, как и множеству русских интеллигентов, преисполненных нутряной ненависти к Кремлю, осознать природу горбачёвских реформ и те последствия, которые они несут стране. Опыт Солженицына и сотен других умных людей России убеждает в истинности знаменитого высказывания Франсуа де Ларошфуко: «Ум всегда в дураках у сердца».

Примечания

¹ Перевод с англ. Н. Гринцера.

² Показательными для западной историографии в этом контексте являются, например, следующие работы: *Haimson L.H., Dallin D.J.* The Mensheviks: From the Revolution of 1917 to the Second World War. Chicago: University of Chicago Press, 1974; *Brovkin V.N.* The Mensheviks after October: Socialist Opposition and the Rise of the Bolshevik Dictatorship. Ithaca: Cornell University Press, 1987; *Galili y Garcia Z.* The Menshevik Leaders in the Russian Revolution: Social Realities and Political Strategies. Princeton: Princeton University Press, 1989; *Ascher A.* The Mensheviks in the Russian Revolution. Ithaca: Cornell University Press, 1976.

³ См.: *Cohen S.F.* Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888–1938. N.Y.: Knopf, 1973.

⁴ См.: *Fitzpatrick S.* The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, October 1917–1921. Cambridge: Cambridge University Press, 1970; *Idem.* Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. Впрочем, после распада СССР и открытия советских архивов, а также в связи с изменением настроений в западной науке Фитцпатрик была вынуждена, по меньшей мере, уточнить свои воззрения, и в последних своих работах она в гораздо большей мере обращает внимание на репрессивную сторону режима (см.: *Idem.* Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. N.Y.: Oxford University Press, 1994).

⁵ См.: *Getty J.A.* Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

⁶ См.: *Pipes R.* Russia under the Old Regime. N.Y.: Scribner, 1974 (пер. на рус. яз.: *Пайпс Р.* Россия при старом режиме. М.: Захаровъ, 2004).

⁷ См.: *Pipes R.* The Russian Revolution. N.Y.: Knopf, 1990; *Idem.* Russia under the Bolshevik Regime. N.Y.: Knopf, 1993 (пер. на рус. яз.: *Пайпс Р.* Русская революция: В 3 т. М.: Захаровъ, 2005).

⁸ См.: *Фуко М.* Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова; Под ред. И. Борисовой. М.: Ad Marginem, 1999.

⁹ См.: *Spivak G.Ch., Ryan M. Anarchism Revisited: A New Philosophy* // *Diacritics*. June 1978; *Negt O., Daniel J.O. Reflections on France's «Nouveaux Philosophes» and the Crisis of Marxism* // *Substance*. 1983. № 4 (11).

¹⁰ *Фюре, Франсуа (Furet, François; 1927–1997)* — французский историк, автор ряда книг, из которых наиболее известной является «Постижение Французской революции» (1978; пер. на рус. яз.: СПб.: ИНАПРЕСС, 1998). — *Примеч. перев.*

¹¹ *Тэн, Ипполит (Taine, Hippolyte Adolphe; 1828–1893)* — французский философ и историк. Критика Великой Французской революции содержится в его фундаментальном труде «Происхождение современной Франции» (рус. изд.: СПб., 1907). — *Примеч. перев.*

¹² См.: *Fure F. Revolutionary France, 1770–1880*. Oxford: Blackwell, 1992.

¹³ См.: *Fure F. The Passing of an Illusion: The Idea of Communism in the Twentieth Century*. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

¹⁴ См.: *Geller M., Nekrich A.M. Utopia in Power: The History of the Soviet Union from 1917 to the Present*. N.Y.: Summit Books, 1986 (пер. на рус. яз.: *Геллер М., Некрич А. Утопия у власти*. М: МИК, 2000).

¹⁵ *Гуверовский институт войны, революции и мира (Hoover Institution on War, Revolution and Peace)* — американский политологический центр, входящий в состав Стэнфордского университета. Основан в 1919 г. американским государственным деятелем Гербертом Гувером для создания архива Первой мировой войны. В настоящее время располагает одним из крупнейших собраний материалов, посвящённых истории России периода Первой мировой войны и революции. — *Примеч. перев.*

¹⁶ Вероятно, иные истоки подобных взглядов можно искать разве что в исконно русской интеллектуальной традиции, также предупреждавшей об опасности стремлений к построению рая на земле. Здесь наиболее значимыми фигурами предстают Владимир Соловьёв и Фёдор Достоевский. В «Трёх разговорах» Соловьёва тиран пытается создать общество всеобщего благоденствия, выступая в роли Христа. Схожий образ рисует и Достоевский в Легенде о Великом Инквизиторе, содержащейся в романе «Братья Карамазовы».

¹⁷ О политических взглядах Корнилова см.: *Wildmen A. Officers of the General Staff and the Kornilov Movement* // *Revolution in Russia: Reassessment of 1917* / Ed. by Edith Rogovin Frankel, Jonathan Frankel, Baruch Knei-Paz, and Israel Getzier. Cambridge: Cambridge University Press, 1992; *Katkov G. Russia 1917, the Kornilov Affair: Karansky and the Break-up of the Russian Army*. L.: Longman, 1980 (пер. на рус. яз.: *Катков Г.М. Дело Корнилова*. М: Русский путь, 2002).

¹⁸ См.: *Цветков В.Ж. Репрессивное законодательство белых правительств* // *Вопросы истории*. 2007. № 4.

¹⁹ См.: *Рабинович А., Христофоров И.А. Моисей Урицкий: Робеспьер революционного Петрограда?* // *Общественная история*. 2003. №1.

²⁰ См.: *Фельштинский Ю.Г., Чернявский Г.И. Красный террор в годы Гражданской войны: По материалам Особой следственной комиссии* // *Вопросы истории*. 2001. № 7, 8, 10; *Ефимов Н.А. Атарбеков: один из зачинщиков красного террора* // *Вопросы истории*. 2000. № 6; *Литвин А.Л. Красный и белый террор в России 1917–1922 гг.* // *Отечественная история*. 1993. № 6; *Arosalo S. Social Conditions for Political Violence: Red and White Terror in the Finnish Civil War of 1918* // *Journal of Peace Research*. 1998. № 2 (35). March.

²¹ Цинь Шихуанди (259–210 до н.э.) — основатель династии Цинь и правитель царства Цинь (246–211 до н.э.); положил конец эпохе «воюющих царств» и объединил под своей властью всю территорию Внутреннего Китая. — *Примеч. перев.*

²² Тайпинское восстание — крестьянская война в Китае (1850–1864) против маньчжурской династии Цин, приведшая к десяткам миллионов жертв и подавленная с помощью Англии и Франции. — *Примеч. перев.*

²³ Устрялов, Николай Васильевич (1890–1937) — деятель Белого движения; был выслан из страны, жил в Китае и во Франции, в 30-е годы работал на КВЖД, затем вернулся в СССР, где был арестован и расстрелян. В 1921 г. стал одним из основных авторов сборника «Смена вех», давшего название целому направлению в русской общественно-политической мысли. — *Примеч. перев.*

²⁴ См.: «В Сталина нужно стрелять»: Переписка Н.В. Устрялова и Н.А. Цурикова 1926–1927 гг. // Вопросы истории. 2000. № 2; Mark E. October or Thermidor? Interpretations of Stalinism and the Perception of Soviet Foreign Policy in the United States, 1927–1947 // American Historical Review. 1989. № 4 (94). October; Oberländer E. National-Bolschewistische Tendenzen in der Russischen Intelligenz // Jahrbuch für Geschichte Osteuropas. 1968. № 2 (16); Makarov V.G. Pax Rossica: The History of the Eurasianist Movement and the Fate of the Eurasianists // Russian Social Science Review. 2008. № 6 (49). November/December; Shlapentokh D. Russia between East and West: Scholarly Debates on Eurasianism. Boston: Brill, 2007; Bassin M. «Classical» Eurasianism and the Geopolitics of Russian Identity // Ab Imperio. 2003. № 2.

²⁵ См.: Бродский И. Мрамор. СПб.: Азбука, 2010.

²⁶ См.: Pridemore W.A. Rifling Russia: Law, Crime & Justice in a Changing Society. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2005; Sanford T. The Creation of Criminal Russia // Canadian Slavonic Papers. 1999. № 3/4 (41). September–November.

²⁷ Этот термин с лёгкой руки Фрэнсиса Фукуямы приобрёл огромную популярность. Анализу данного понятия американский философ посвятил известную статью «Конец истории?» (1989), а затем и книгу «Конец истории и последний человек» (1992; пер. на рус. яз.: М.: АСТ, 2004).

²⁸ См.: Зиновьев А.А. Зияющие высоты. М.: Эксмо, 2008.